

ЮРИЙ БУДА

ТРЕТЬЕ
СЕРДЦЕ



Юрий Васильевич Буйда

Третье сердце

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3140465

Третье сердце: Эксмо; Москва; 2010

ISBN 978-5-699-41774-2

Аннотация

Юрий Буйда не напрасно давно имеет в литературных кругах репутацию русского Зюскинда. Его беспощадная, пронзительная проза гипнотизирует и привлекает внимание, даже когда речь заходит о жестокости и боли.

Правда и реальность человеческой жизни познаются через боль. Физическую и душевную. Ни прекрасная невинная юность, ни достойная, увитая лаврами опыта зрелость не ограждают героев Буйды от слепящего ужаса повседневности. Каждый день им приходится выбирать между комфортом и конформизмом, правдой и правдоподобием, истиной и ее видимостью. Ни один выбор – не идеален. Но иногда выбрать – значит совершить поступок. Какими ни были бы его последствия...

В новую книгу известного писателя, драматурга и журналиста Юрия Буйды вошел роман «Третье сердце». Стилистический шедевр, он колеблется на грани Добра и Зла, зачаровывая и пленяя.

Содержание

1	4
2	9
3	13
4	18
5	24
6	37
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Юрий Буйда

Третье сердце

Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, – и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря».
Иона, 1: 12

1

Пьяный губастый верзила с подбитым глазом в подземном переходе жонглирует двумя мячиками и рыжим апельсинчиком, рядом сидит на полу одноногая некрасивая девочка лет десяти-двенадцати с ярко покрашенными губами, провожающая злым взглядом людей, которые обращают внимание только на табличку, висящую у нее на груди, – «Купи меня, не то я тебе приснюсь» – так написано на табличке, – а он проходит мимо пьяного верзилы с подбитым глазом, жонглирующего в подземном переходе двумя мячиками и рыжим апельсинчиком, у ног которого сидит девочка лет десяти с ярко покрашенными губами, с табличкой на груди – «Купи меня, не то я тебе приснюсь», он бежит мимо, провожаемый злым взглядом одноногой некрасивой девочки лет десяти-двенадцати, сидящей у ног пьяного губастого верзилы, который в подземном переходе жонглирует двумя мячи-

ками и рыжим апельсинчиком, вдруг падающим наземь и катящимся, – он оборачивается ему вслед, девочка закрывает глаза, и лицо ее гаснет, как апельсин на грязном полу перехода, – и он уже наверху, здесь много людей, машин, много света, поэтому он закрывает глаза, чтобы разглядеть лицо девочки с ярко накрашенными губами, с табличкой на груди – «Купи меня, не то я тебе приснюсь», но ее палящий злой взгляд мешает разглядеть ее лицо, поэтому он открывает глаза и видит рыжий апельсинчик, катящийся к его ногам, преследующий его наяву, как в страшном сне об одноногой девочке и рыжем апельсинчике, которым жонглирует в подземном переходе пьяный верзила с подбитым глазом, у ног которого сидит некрасивая девочка лет десяти-двенадцати с ярко накрашенными губами, с табличкой на груди – «Купи меня, не то я тебе приснюсь», провожающая злым взглядом его, пробегающего мимо, убегающего, все еще бегущего мимо пьяного губастого верзилы с подбитым глазом, в подземном переходе жонглирующего мячиками рядом с некрасивой девочкой, у которой на груди висит картонка с надписью от руки печатными буквами «Купи меня, не то я тебе приснюсь»...

И не уйти, и не остаться. Это не тупик – это замкнутый круг, лабиринт, в котором бьется и мечется безмозглая совесть, пытающаяся отыскать выход там, где нет входа...

Мужчина в добротном сером пальто с меховым воротни-

ком опустился на корточки перед девочкой, сидевшей в подземном переходе у Триумфальной арки, снял шляпу и спросил:

– Мадмуазель, как вас зовут?

Он улыбался, от него пахло вест-индским табаком, английским одеколоном и хорошим коньяком.

– А тебе-то что, урод? – буркнула девочка.

– У меня никогда не было сестры, – сказал мужчина.

– Кого? – Девочка ловко закурила сигарету.

– Сестры.

– Сестры... – Она презрительно скривилась. – Такой глупости я еще не слыхала. Значит, тебе нужна сестренка, урод?

У нее был низкий женский голос.

– Меня зовут Тео, – возразил мужчина. – Я фотограф и педофил.

– Педо – кто?

– Педофил. Это значит, что я люблю детей.

– Похоже, ты иностранец, чучело.

– Какой же я иностранец, мадмуазель? Я русский.

– Урод, – пробормотала она и выпустила дым кольцами.

– Ну хорошо. – Он кивнул на ее табличку. – И сколько же вы стоите?

– Сто франков! – Девочка хрипло захохотала. – Сто франков, братец, и ни сантимом меньше! Ну, что скажешь, урод?

– Договорились, – сказал мужчина, поднимаясь и надевая шляпу. – Пойдемте.

– Вот урод. – Девочка сплюнула. – Проваливай, пока я не позвала полицию.

– Жаль, – сказал он, по-прежнему улыбаясь. – До свидания, мадмуазель.

И двинулся к лестнице, ведущей наверх.

– Проваливай! – отчаянно, с надрывом закричала девочка, вытягиваясь всем тощим телом в его сторону. – Убирайся, урод! Чертов урод!

Пьяный губастый верзила уронил апельсин.

Из будки на девочку укоризненно взирала толстуха, которая продавала билеты на смотровую площадку Триумфальной арки. Подумать только, сто франков! Муж толстухи во время войны получал четверть франка в день, подвергаясь при этом смертельной опасности. За четверть франка в день его проткнули штыком, отравили фосгеном, а вдобавок отстрелили левое яичко. Толстуха покачала головой: трудно даже вообразить, что с ним сделали бы за сто франков...

Она вдруг спохватилась, высунулась в окошко – мешала нечеловеческая грудь – и закричала вслед мужчине, поднимавшемуся по лестнице:

– Мадо! Ее зовут Мадо! Мадлен!

– Вот сука, – прошипела Мадо.

Но мужчина их не слышал. Он уже поднялся наверх. Вдоль Елисейских Полей загорались фонари. Он махнул рукой. У тротуара остановилось такси.

– Сен-Жерменское предместье, пожалуйста, – сказал он,

откидываясь на сиденье. – Улица Гренель.

Шофер кивнул – вот уже несколько недель ему то и дело приходилось возить пассажиров по этому адресу – и тронул машину.

13 ноября 1926 года в Париже состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”». В ту пору русским пропагандистским фильмам, как и вообще авангардному кино, театры на Больших бульварах были заказаны. Поэтому известный кинодеятель Леон Муссиак, один из зачинателей движения кино клубов, показал русскую ленту с французскими субтитрами на Монмартре, в маленьком театрике «Артистик» на улице Дуэ (на той самой улице, где когда-то в доме Виардо жил Иван Тургенев).

Премьера эта стала сенсацией. А вскоре на Парижской выставке искусств фильм Эйзенштейна получил главный приз – «супергранпри». Как писали очевидцы, вечерами у «Казино де Гренель», где тогда крутили картину, толпилось до двух тысяч человек, прибывавших сюда, в Сен-Жерменское предместье, кто на велосипедах и в кепках, а кто на «Роллс-Ройсах» и в норковых манто.

В этом фильме рассказывалось о бунте на броненосце «Князь Потемкин Таврический» в июле 1905 года. Драматург с революционным прошлым Нунэ Агаджанова-Шутко написала огромный и неудобоваримый сценарий под названием «1905 год», но этим сценарием режиссер Сергей Эйзенштейн, можно сказать, пренебрег. Рыхлой политической хронике, сочиненной Агаджановой, которая по большому

счету мало чем отличалась от унылого полицейского отчета, Эйзенштейн предпочел динамичную драму в духе Дэвида У. Гриффита: в «Броненосце» 1346 отдельных съемочных планов (в голливудских фильмах тех лет, которые считались образцом динамизма, в среднем таких планов было 600) стремительно летят друг за другом, не давая зрителю ни минуты передышки. Эйзенштейн создал чрезвычайно выразительное произведение, которое в силу своей примитивной архаичности и часто помимо воли режиссера грубо пленяло что мужчин в кепках, что дам в норковых манто.

«Броненосец «Потемкин» много раз назывался «лучшим фильмом всех времен и народов». И как бы комично этот титул ни звучал, картина и впрямь является несомненным шедевром и вершиной мирового киноискусства. А тогда, в 1926 году, она стала еще и заметным событием французской духовной жизни.

В 1926 году жизнь во Франции была насыщенной, противоречивой и напряженной, как на скользком склоне крутой горы или на опасном перекрестке.

Третья республика проклинала вялый рационализм президента Думера и жила надеждами на старика Пуанкаре, который снова возглавил правительство и пообещал остановить девальвацию франка.

Многие все еще распевали песенку «Мадлон победы», напоминавшую о победе над Германией, но только что завершившаяся война в Марокко против рифов, которую выиг-

рал маршал Петен, вызвала духовный кризис французской интеллигенции и активизацию фашистов из *L'ami du peuple*.

Министр иностранных дел Франции Аристид Бриан – вместе с министром иностранных дел Германии Густавом Штресеманом – получил Нобелевскую премию мира за примирение с Германией, но в церемонии вручения премии, к радости французов, участия не принял.

А тем временем Париж упивался джазом, читал «*Mein Kampf*», танцевал чарльстон и шимми, восхищался чернокожей танцовщицей Жозефиной Беккер и девятнадцатилетней американкой Гертрудой Эдерле, первой женщиной, переплывшей Ла-Манш – 34,80 мили (56,01 километра) – за 14 часов 31 минуту.

В Париже открылась Большая мечеть, построенная в самом центре города, в V округе, по инициативе и на средства французского правительства в качестве жеста благодарности Франции солдатам-мусульманам, отдавшим за нее жизнь в годы Первой мировой войны. Однако радикальные приверженцы ислама считали эту мечеть скорее издевательством, чем жестом благодарности: у большинства парижских мусульман не было приличной одежды, чтобы показаться в центре города, среди богатых буржуа.

Габриель Шанель придумала свое знаменитое «маленькое черное платье».

Тейяр де Шарден только что был изгнан из Католического института за неортодоксальную интерпретацию первород-

ного греха применительно к эволюции человека и сослан в Китай, где вскоре сделал эпохальное антропологическое открытие, обнаружив и описав синантропа.

В Париж приехал Сальвадор Дали, сразу примкнувший к группе сюрреалистов во главе с Андре Бретоном. Авангардисты внимательно следили за киноэкспериментами Жана Эпштейна, Абея Ганса и Фернана Леже.

Николай Бердяев начал выпускать в Париже журнал «Путь», который стал, пожалуй, самым авторитетным центром интеллектуальной жизни русской эмиграции.

Таким был 1926-й. Этот год не был отмечен грандиозными событиями, однако профессор богословия Марбургского университета Рудольф Бультман, гуляя как-то по берегу Лана с другом, профессором Мартином Хайдеггером, назвал переживаемое время предродовым, промежуточным, *die qualvolle Pause zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung* – мучительной паузой между Распятием и Воскресением.

Металл раскалился, но еще не начал плавиться.

«Броненосец» не утонул в этой вавилонской плавильне, хотя за признание публики ему пришлось побороться с фильмом «Сын шейха», который благодаря секс-символу эпохи, любимцу миллионов женщин Рудольфу Валентино в главной роли стал рекордсменом французского проката.

В Париже тогда проживало около пятидесяти тысяч русских (в канун Первой мировой их во Франции было чуть более тридцати шести тысяч). Они молились в православных храмах, учили детей в русских школах и спорили о Достоевском в кафе «Ротонда», на дверях которого один едкий за-всегдатай однажды предложил начертать лозунг «Психопаты всех стран, соединяйтесь!».

Многие русские имена – антрепренера Дягилева, танцовщика Нижинского, композитора Черепнина, создавшего в Париже Русскую консерваторию, великой княгини Марии Павловны, владевшей модным салоном русских вышивок «Китмир», топ-моделей княгини Трубецкой и графини Белецкой (праправнучки Жуковского), парфюмера Эрнеста Бо, придумавшего Chanel № 5, иммунолога Метальникова – были хорошо известны во Франции.

Однако мало кто из русских мог позволить себе деликатесы от Фошона и одежду из салонов, расположенных на Фобур Сен-Оноре. Большинству новых эмигрантов приходилось вкалывать за баранкой такси, на заводах Луи Рено в Бийянкуре или в многочисленных русско-цыганских кафе и кабаре. Первое русское кабаре открылось в 1922 году на улице Пигаль, в «районе красных фонарей», неподалеку от того самого театра «Артистик», где четыре года спустя состо-

ялась премьера «Броненосца». Кстати, в отличие от испанских анархистов, румынских воров и итальянских бандитов, русские эмигранты в массе своей (как, впрочем, и поляки) не доставляли особых хлопот французской полиции.

Русские эмигранты по понятным причинам приняли фильм «Броненосец “Потемкин”» холодно, чтобы не сказать – враждебно. Левым французским эстетам было, в общем, наплевать на степень исторической достоверности картины – они восхищались ее мощной выразительностью. А вот русские парижане были возмущены весьма вольным обращением с фактами, допущенным «евреем и большевиком» Эйзенштейном, который воспел бессмысленный и беспощадный бунт русских моряков, открывших огонь из корабельных орудий по мирному русскому городу. Тем не менее очень многие побывали сначала в театрике «Артистик», а затем в «Казино де Гренель», причем некоторые с одной-единственной целью – хотя бы на экране снова увидеть утраченную родину.

Именно с такой целью и отправился на улицу Гренель парижский обыватель русского происхождения Федор Иванович Завалишин, которого немногочисленные друзья звали просто Тео.

Он был родом из Одессы, в 1905 году был призван в армию и участвовал в усмирении «потемкинских» беспорядков.

В то время по всей империи бунтовали миллионы чело-

век, разочарованных поражением великой державы в войне с Японией, унижительными для России условиями мира и катастрофически снижающимся уровнем жизни в результате чрезвычайных военных расходов.

Летом 1905 года во время учений на Черном море взбунтовался экипаж броненосца «Князь Потемкин Таврический», который направил корабль в ближайший порт – Одессу. Поводом к мятежу стало червивое мясо, поданное матросам на обед. У матросов-бунтарей не было никаких идей, никакого плана и никаких целей – они всего-навсего хотели, чтобы к ним относились по-человечески. Того же самого, впрочем, хотела и вся Россия. Город охватили волнения, начались выступления рабочих и студентов.

Полк, в котором служил Федор Завалишин, был направлен на подавление этих выступлений. Так что у Тео были все основания считать себя участником событий, о которых рассказывалось в фильме. Но, повторяю, он шел в кинотеатр вовсе не ради того, чтобы погрузиться в пучину исторических и политических страстей.

Он купил билет, занял место в зале и расслабился в предвкушении отдыха. Конечно же, он и предположить не мог, что через семьдесят пять минут после начала сеанса жизнь его изменится бесповоротно.

Вот как рассказывали об этом парижские газеты.

«Вчера поздно вечером господин Тео Z., фотограф с улицы Коленкур, явился в полицейский участок X V округа и

заявил, что он совершил страшное преступление. Он выглядел возбужденным и расстроенным. Однако вскоре выяснилось, что его заявление скорее курьез, чем повод для вмешательства полиции.

А дело вот в чем.

Господин Z., родом из России, в 1905 году участвовал в подавлении мятежа на военном корабле русского флота, о чем повествует нашумевший русский фильм «Броненосец “Потемкин”», который сейчас собирает множество зрителей на окраинах Парижа. Господин Z. посмотрел этот фильм и был потрясен увиденным.

В этом фильме есть впечатляющая сцена расстрела бунтовщиков на широкой лестнице в Одесском порту. По словам господина Z., он принимал участие в том расстреле. Как он рассказал, начальство объяснило солдатам, что толпа портовых подонков решила воспользоваться смутой и собирается громить город. Рядовой не задумывался о верности этой информации и по команде офицера стрелял с довольно большого расстояния в людей на откосах у лестницы, пока толпа не рассеялась. А вскоре полк перебросили в другую часть огромной и беспокойной империи, и одесские события если и не забылись, то были заслонены другими впечатлениями.

После демобилизации господин Z. служил техником в русском отделении кинокомпании «Гомон», участвовал добровольцем в войне с Германией, в 1916 году был зачислен солдатом в состав Русского экспедиционного корпуса и по-

пал во Францию, а после войны осел в Париже.

О подробностях своей военной службы в России господин Z. не вспоминал, пока в Париже ему не довелось пойти в театр на картину «Броненосец «Потемкин», в которой, как говорили друзья, он мог увидеть свой родной город: картина пользовалась большим успехом, и ее стоило посмотреть. Только тогда, увидев на экране, в *кого* он стрелял много лет назад, этот человек, по его словам, понял ужас преступления, бессознательным участником которого он оказался. В состоянии, близком к помешательству, он отправился в контору кинотеатра и потребовал от администрации указаний, куда ему пойти, чтобы предать себя законным властям и понести должную кару за совершенное злодеяние. Его направили в полицию X V округа, где он и сделал свое странное признание. Ему подали воды, и тут-то с ним и случился припадок, сопровождавшийся судорогами. Господин Z. в бессознательном состоянии увезли в военный госпиталь.

Все свидетельствует о сильном душевном смятении, вызванном потрясением, которое этот бедняга только что перенес. Впрочем, по словам врачей, жизнь его сейчас вне опасности».

Заметку эту вытеснила на задворки тогдашняя новость номер один – сообщение о «довильской могиле». Об этом страшном происшествии писали все парижские газеты: хотя Довиль и находился в двухстах километрах от Парижа, на нормандском побережье, состоятельные парижане издавна привыкли считать отдых в Довиле неотъемлемой частью своей жизни.

Инвалид, служивший в госпитале на посылках, утром принес газеты, и Тео внимательно прочел статью об испытаниях новейшего гусеничного полноповоротного экскаватора с бензиновым двигателем. Испытания проходили неподалеку от Довиля, на участке с глинистой почвой. Там-то при вскрышных работах и была обнаружена странная и страшная могила, из которой были подняты семь слипшихся женских тел. Все женщины были зарезаны. Убийца или убийцы бросили их совершенно нагими в яму и забросали землей. Полицейские врачи утверждали, что случилось это не далее как минувшим летом.

Жандармы опрашивали местных жителей, пытаясь установить личности убитых и мотивы преступления, но люди могли вспомнить только о киносъёмочной группе – это были трое или четверо мужчин и несколько женщин, которые несколько дней провели на окраине Довиля. Один из них, по

словам свидетелей, носил под широкополой американской шляпой железный колпак.

Прочитав о железном колпаке, Тео нахмурился.

«Если это было убийством ради убийства, – писала газета, – то мы имеем дело с опаснейшим душевнобольным – или душевнобольными – вроде Джека-потрошителя, который орудовал в Лондоне в 1880-х годах. Но Потрошитель действовал в одиночку и лишь однажды убил двух женщин за один день, да и то в разное время. Выходит, довильскому преступнику удалось превзойти лондонского дьявола: он убил семерых сразу. Он резал этих злосчастных одну за другой, может быть, даже на глазах друг у дружки, но что-то мешало им бежать или прийти на помощь подругам. Возможно, преступник обладает способностью к гипнозу? Или он просто напоил этих женщин, подсыпав им в вино какого-нибудь зелья? Ответов пока нет – есть лишь семь слипшихся грязных женских тел со следами ножевых ранений. Жандармерия Довиля уже связалась с набережной Орфевр, и уголовная полиция приступила к расследованию ужасного преступления».

На фотографиях можно было различить уродливый механизм со стрелой и ковшом, замерший у разверстой ямы, людей с носилками, здание мэрии Довиля. Снимки заметно различались качеством, из чего Тео сделал вывод, что фотографы пользовались не новейшими пленочными фотоаппаратами, а старыми переносными камерами с раздолбанными

кремальерами.

Он отложил газету.

Довиль, эти слипшиеся трупы, мужчина в железном колпаке...

Завершая репортаж о страшной находке в Довиле, газета «Пари суар» цитировала Ретифа де ла Бретонна: «Подобно солнцу, о Париж, ты распространяешь твой свет и твое животворящее тепло на внешний мир, тогда как внутри ты тьма, и тебя населяют дикие животные».

Католические издания вытащили на свет божий «Письма о Париже и Франции в 1830 году» немецкого историка Фридриха фон Раумера, который писал: «С башни Нотр-Дам осмотрел вчера ужасный город: кто построил здесь первый дом и когда обрушится последний, так что мостовые Парижа станут выглядеть как мостовые Фив или Вавилона?»

А бульварная пресса вспомнила «Парижского цирюльника» Поля де Кока: «Ах, мой мэтр! Сатана проник в наш бедный город и хочет сделать из него свое владение».

Словом, газетам было о чем писать, и они торопились: был канун Рождества, когда людям уже не хочется читать все эти мрачные истории. Поэтому информация о курьезном случае в «Казино де Гренель» была напечатана мелким шрифтом на последней полосе, в разделе «Происшествия», между историей про облаву в катакомбах, где по традиции собирался всякий сброд, и сообщением о сошедшем с рельсов трамвае неподалеку от Чрева.

Маловероятно, чтобы занятые предрождественскими хлопотами и шокированные «довильским делом» обыватели обратили внимание на заметку о каком-то русском чудаке, сошедшем с ума в кинотеатре.

Эта газетная заметка не содержала ошибок, хотя и нуждалась в некоторых дополнениях и уточнениях.

В 1916 году Федор Завалишин действительно был зачислен в состав Русского экспедиционного корпуса в первую отдельную бригаду, но не солдатом, а специалистом по фотокиноделу при штабе корпуса, и был приписан к разведотделу. Жалованье ему положили офицерское. По прибытии во Францию он наравне со всеми прошел обучение в лагере Майи, в Шалоне, и был направлен на передовую неподалеку от Реймса. Он принимал участие в боевых действиях, достигавших подчас такого накала, что даже полковым священникам приходилось подниматься в контратаку с оружием в руках.

Корпус нес большие потери, потому что солдат в него набирали не по боевому опыту, а по росту, цвету глаз и вероисповеданию, и больше всего в них ценилось умение ходить парадным шагом. Вдобавок русские части оказались без траншейной артиллерии и правильно организованной разведки.

Опыту Федора Завалишина подчас просто не находилось применения, и нередко, вместо того чтобы заниматься своим прямым делом, он участвовал в боях наряду с солдатами и офицерами. Позднее, в знаменитой битве при Суассоне,

когда Русский легион (все, что осталось от экспедиционного корпуса) проявил массовый героизм, отражая прорыв германцев к Парижу, Завалишин заменил убитого командира пулеметного расчета, был ранен, контужен, лечился в Курти. Он был награжден французским Военным крестом с бронзовой пальмой, Военным крестом с серебряной звездой и дважды – русским Крестом святого Георгия.

По завершении войны он устроился техником на киностудии «Гомон», а когда Франция в 1922 году признала беженский «нансеновский» паспорт, позволявший русским легально заниматься бизнесом в тридцати восьми странах, – открыл собственное фотоателье. По воскресеньям он иногда ходил в зоосад, где с почетом содержался легендарный медведь Мишка, живой талисман Русского экспедиционного корпуса, пострадавший во время германской газовой атаки.

В госпитале Тео быстро пришел в себя. Он рассказал доктору Эрве, что почувствовал себя плохо сразу по выходе из «Казино де Гренель». Не помогла и рюмка абсента, выпитая в ближайшем кафе. Лица людей, стены домов, предметы – все было окрашено красноватым мерцающим светом; голова кружилась; тело будто овеивал теплый ветерок. В полицейском участке после признания в преступлении, сделанного заплетающимся языком, он вдруг упал и на несколько мгновений замер, после чего тело его искорежила судорога, ударила крупная дрожь, на губах выступила пена, то есть, как выражаются врачи, аура сменилась тонической стадией, пе-

решедшей в стадию клоническую. Это была картина, характерная для эпилептического припадка. Во время приступа у больного случилось вулканическое семяизвержение, а температура тела значительно превысила нормальную.

По просьбе доктора Эрве, которого тревожило умственное здоровье пациента, – эпилептики нередко страдают прогрессирующим ослаблением памяти, – Тео без запинки перечислил все восемьдесят шесть деталей пулемета «гочкис», который называли «пулеметом победы», подсчитал свой заработок за все время пребывания на театре военных действий: ему платили 750 франков в месяц, тогда как нижнему чину в Русском экспедиционном корпусе – 0,75 франка в сутки (втрое больше, чем французскому рядовому), – и, не переводя дыхания, прочитал «Отче наш», объяснив, что это «Pater noster» по-русски.

– Это со мной впервые, доктор, – сказал Тео. – Я никогда не страдал падучей.

Доктор Эрве был опытным психиатром и понимал, что страна, которая месяц за месяцем теряла на войне около десяти тысяч мужчин в сутки только убитыми, еще не скоро обретет душевное здоровье. Душа Франции была воспалена и находилась во власти демонов тьмы. В госпиталях все еще было немало мужчин, которые в бреду командовали ротами, отбивались в траншеях от бошей и мочились под себя, падая во сне с небес в горящих аэропланах. Врач прописал Тео воздержание и покой.

Бельведер, примыкавший к главному зданию госпиталя с южной стороны, выходил в сад, где среди оголенных деревьев по узким дорожкам уныло бродили больные. Устроившись поудобнее в плетеном кресле с сигарой и газетами, Тео иногда бросал взгляд на этих бедолаг в серых шерстяных халатах, за которыми присматривали суровые сестры милосердия.

Здесь, на бельведере, его и нашел Жак-Кристиан Оффруа, журналист, автор заметки о происшествии в «Казино де Гренель», сотрудник газеты «Пари матен». Это был щедушный юноша с острой нижней челюстью, которую он старательно выпячивал, чтобы произвести впечатление волевого человека – вроде Бенито Муссолини или Эме Симон-Жирара, исполнившего главную роль в нашумевшем двенадцатисерийном блокбастере «Три мушкетера».

Коллеги в шутку называли его «вашим преосвященством»: даже в репортаж о поимке мелкого воришки он норовил вставить цитатку из Священного Писания (которую редакторы, разумеется, с удовольствием вычеркивали). Господин Оффруа учился в иезуитском колледже и поэтому стал бунтарем и мечтателем. Он бунтовал против Бога и хотел соединить в своих книгах – Жак-Кристиан мечтал стать писателем – яркую вульгарность Библии с ядовитым психо-

логизмом Достоевского, который в те годы вошел во Францию в большую моду.

Происшествие в «Казино де Гренель» поразило Жак-Кристиана. Как раз накануне этого события он наконец прочел «Братьев Карамазовых». В этом романе один из главных героев, монах Зосима, рассказывал о человеке, который некогда совершил преступление и забыл о нем. Но спустя четырнадцать лет внезапные муки совести сделали его существование невыносимым и побудили его открыться и объявить себя злодеем. После этого признания он заболел непонятным недугом и вскоре умер. Умер он, как утверждает рассказчик, просветленным. Старец Зосима радуется этому, «ибо узрел несомненную милость Божию к восставшему на себя и казнившему себя».

Ученику иезуитов была понятна эта радость, хотя она и вызывала у него протест, а будущему писателю хотелось понять, что же за человек этот здоровяк, так не похожий на худосочных и истеричных героев Достоевского. Тео произвел на юного господина Оффруа сильное впечатление. Судьба напала на него из-за угла, застала его врасплох, как царя Эдипа или апостола Павла. Он был готовым героем романа, и было бы глупо этим не воспользоваться.

Тео встретил его улыбкой и кивком пригласил садиться. Жак-Кристиан опустился в плетеное кресло рядом с Тео. – Как вы себя чувствуете, Тео? – спросил он, раскуривая трубку.

– Доктор Эрве говорит, что через день-два может меня выписать.

– А потом?

– Потом, мсье?

– Ну да, что потом, Тео? Не хотите же вы сказать, что ваша жизнь останется прежней? Вы только что пережили потрясение... Вы столько лет считали себя человеком, которого каждое утро видите в зеркале, и вот вдруг узнали о себе что-то новое, что-то такое, что ставит под сомнение всю вашу прежнюю жизнь... Вдруг оказалось, что внутри вас все эти годы как будто жил другой, темный человек... Разве это не потрясение?

Тео кивнул.

– С этим ведь нужно что-то делать...

– Наверное, вы правы, мсье, – сказал Тео. – Но пока у меня нет никаких планов. – Он помолчал. – Однажды в ночном лесу под Суассоном мы столкнулись с немцами. Неожиданно, нос к носу. Для немцев это тоже было неожиданно. Ночь, туман, лес... Мы молча бросились друг на друга в штыки. – Он снова сделал паузу. – Только вообразите, мсье: несколько сотен мужчин с оружием в руках дрались в том лесу почти вслепую. Удар, удар, еще удар... Это был не бой – это была настоящая свалка. В темноте было слышно лишь громкое дыхание да удары железа о железо... и еще хрипы и вопли раненых... И вдруг над лесом вспыхнула осветительная бомба... вспышка магния... – Тео склонился к журна-

листу. – Что чувствует человек, который вдруг увидел, что в темноте поразил своим штыком лучшего друга? И как ему после этого жить, мсье?

– Ну да, я именно об этом и говорю, – растерянно пробормотал Жак-Кристиан, вообще-то не ожидавший такого поворота. – Такое и Достоевскому не снилось... Вы читали Достоевского, Тео?

– Я фотограф, мсье.

– Ну да... – Жак-Кристиан много бы дал за то, чтобы кто-нибудь вдруг сейчас вошел и позвал его, например, к какой-нибудь умирающей сестре или хотя бы к телефону. Он вдруг заметил в руках Тео газету с броским заголовком, кричавшим о «довильском деле», и обрадовался. – Знаете, а я как раз сейчас занимаюсь этим убийством...

– Занимаетесь?

– Ну да, вообще... – Жак-Кристиан был страшно рад сменить тему разговора. – Видите ли, месяца три назад я получил странное письмо с фотографией... – Он извлек из кармана конверт, вытряхнул из него фото и протянул Тео.

Со снимка на Тео смотрел бравый весельчак в лихо заломленной на затылок армейской фуражке.

– На нем форма Русского легиона, – сказал Тео.

– В письме сообщалось, что это убийца, хотя не было ни слова о самом преступлении. Убийца – и все. Тогда еще не было известно о преступлении в Довиле, и я решил, что это написал какой-нибудь сумасшедший...

– Вот как...

– А вчера я получил другое письмо... взгляните...

На другой фотографии был запечатлен изможденный мужчина средних лет с воспаленными глазами, заострившимися чертами хмурого лица и взглядом загнанного в угол хищника. Казалось, его губы дрожат, и казалось, что он вот-вот закричит. На голове у него был неглубокий металлический колпак.

– Это тот же самый человек, – с гордостью сказал господин Оффруа. – Он пишет, что это он совершил убийство в Довиле. Вообразите! И знаете, что еще он написал? – Журналист сделал паузу. – Арестуйте меня! Вот что он написал. Арестуйте и казните меня, потому что у меня уже нет сил казнить себя.

Тео поднял брови.

– Ну да, – спохватился Жак-Кристиан, – звучит, пожалуй, напыщенно, но я ему почему-то верю. – И смущенно добавил: – Интуиция.

– Вот как...

– Я не знаю, почему он выбрал именно меня, да это сейчас и неважно. Важно то, что волею судьбы я оказался в центре расследования... – Он покраснел: выражение «волею судьбы» показалось ему слишком уж вычурным. – Моя газета держит пока эти фотографии в секрете, мы пока ничего не сообщали полиции... Представляете, какая это будет сенсация, если мы первыми найдем убийцу и натянем нос поли-

ции? Я опросил многих парижских фотографов, встретился со многими людьми, служившими в Русском легионе, но пока никто его не признал. — Жак-Кристиан щелкнул пальцем по фотографии изможденного хищника. — Кажется, ему здорово досталось...

— Война, господин Оффруа.

Господин Оффруа встал.

— Я его, конечно, найду, тем более что он и сам этого хочет...

— А так бывает?

— Так — как?

— Чтобы преступник хотел своего ареста... чтобы его поймали...

— Бывает, я уверен, — сказал Жак-Кристиан без особой уверенности. — Например, когда Бог застает грешника врасплох...

— Бог?

— Продавец стыда. — Юный господин Оффруа смущенно улыбнулся. — У нас в колледже был один преподаватель, который называл Бога продавцом стыда. Некоторым людям приходится платить за этот товар непомерную цену, и иные этого не выдерживают. Я думаю, что довийский убийца как раз из таких людей.

Он вдруг подумал, что в устах человека в дорогой шляпе слова о стыде, грехе и Боге звучат неубедительно, и пожалел о том, что не надел кепку.

Он поправил шляпу.

– Пожалуй, мне пора...

– Господин Оффруа!..

– Да?

– Вы ведь не просто так приходили, правда?

– Просто так? – Жак-Кристиан растерялся. – Что вы имеете в виду?

– Я только хочу знать, с какой целью вы ко мне приходили.

– Цель... – Жак-Кристиан покачал головой. – Простите меня, Тео, я просто хотел понять, верю ли я в Бога, как прежде... извините...

Тео встал и протянул журналисту руку.

– Ну что ж, тогда помолитесь за меня, господин Оффруа.

– Помолиться?

– Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, – проговорил Тео, с улыбкой глядя в глаза Жаку-Кристиану.

– Это же Евангелие от Марка, – сказал Жак-Кристиан. – Ну да что ж, Бог всегда заявляется некстати, такая уж у него должность...

– Хозяин вернулся. Понимаете?

– Ну да, конечно, я все понимаю! – Жак-Кристиан схватил руку Тео и крепко ее сжал. – Всего доброго, Тео, мне, к сожалению, пора...

И почти бегом покинул бельведер.

На углу он остановил такси и велел водителю ехать на площадь Сен-Мишель, к известному на Монпарнасе кафе «Ла Болле», где у стойки бара сводили счеты апаши, а в зале со сводчатым потолком, помнившем Оскара Уайльда и Поля Верлена, – литераторы.

В кафе Жак-Кристиан выпил у стойки рюмку перно. В зальчике, куда вела массивная коричневая дверь, было многолюдно, но в углу нашлось свободное местечко, и Жак-Кристиан с облегчением опустился на стул. Сейчас он люто ненавидел Достоевского, ненавидел Тео и, конечно, себя. Но сильнее всего он ненавидел Бога.

Однажды в пансионе Жак-Кристиан, которого товарищи считали тощим недомерком и всячески унижали, заманил на чердак и изнасиловал дурочку Лулу, дочь кастелянши. У девчонки вечно текло из носа, а изо рта пахло, как из братской могилы, но тело у нее было свежим и тугим, как спелая слива. А вскоре у нее стал расти живот, и ее матушка потребовала учинить расследование. Жак-Кристиан до сих пор с дрожью вспоминал тот день, когда в сопровождении старшего наставника-иезуита бородавчатая мадам кастелянша с брюхатой дочерью обходила строй воспитанников, заставляя Лулу повнимательнее вглядываться в лица мальчиков, чтобы указать на преступника. Лулу с дурацкой своей улыбкой останавливалась то перед одним, то перед другим мальчишкой, и все замирали в ужасе, но Лулу только смеялась и хлопала себя по огромному животу. Когда она остановилась пе-

ред Жаком-Кристианом, он чуть не упал в обморок, но все обошлось: он только обмочился. Дурочка же лишь улыбнулась ему и двинулась дальше. А спустя месяц она умерла от пневмонии. После этого Жак-Кристиан возненавидел Бога, поскольку никаких других свидетелей его преступления не осталось.

– Мсье! Эй, дружище!

Жак-Кристиан вдруг очнулся. Бородатый субъект в широкополой серой шляпе с захватанными полями – он сидел напротив – вопросительно смотрел на него, словно ожидая ответа. Это был типичный представитель монпарнасской фауны – из тех, кто не сомневается в своем великом будущем, а пока прозябает в ничтожном настоящем за рюмкой абсента.

– Что вам угодно, мсье? – спросил Жак-Кристиан со вздохом.

– Наказание не следует за преступлением с той неизбежностью, о которой твердит Достоевский, – проговорил бородатый, назидательно подняв палец. – Оно неизбежно лишь в том случае, если Бог существует и если Он управляет добром и злом, как кучер – белыми и черными лошадьми. Но обитель зла здесь! – Он стукнул себя в грудь, и с бороды его что-то закапало. – И именно там, в человеческом сердце, в этой обители зла, и рождается добро! – Зажмурился и замотал головой. – Боже, как же все запутано! – Икнул. – А вот мой батюшка говорил, что не бывает плохих людей, а бывают только плохие поступки. Поэтому люди и знают, что такое

стыдно, а что такое стыд – этого не знает даже Спиноза... Но если никто не знает, что такое стыд, откуда же взяться счастью? Ведь счастье – оно бесстыже... Вы счастливы, дру мой? Разве вам не хочется счастья? Настоящего счастья?

– Нет, мсье. – Жак-Кристиан одним глотком выпил перно. – Я на диете.

Доктор Гастон Эрве носил черные очки с прямоугольными стеклами, слишком большие манжеты с агатовыми запонками и слыл нелюдимом. Коллеги ничего не знали о его семье или привязанностях, но уважали его педантичный холодноватый профессионализм. А он давно понял, что люди с нервными и психическими болезнями больше всего нуждаются только в одном лекарстве – в скуке, рутине, ритуальных банальностях, потому что именно повторение общих мест и является известью, скрепляющей личность. Поэтому доктор Эрве и не говорил своим пациентам ничего такого, чего они тайне не желали бы услышать сами.

Выписывая Тео из госпиталя, доктор Эрве посоветовал ему употреблять в пищу больше жирного и меньше сладкого, то есть прописал так называемую кетогенную диету, которую часто рекомендуют эпилептикам.

– Свежий воздух и никаких волнений. И постарайтесь выкинуть из головы этот фильм. Чувство вины – очень опасное чувство, – сказал доктор, который успел проникнуться симпатией к этому простодушному гиганту с седым ежиком

на круглой голове. – Нередко чувство вины заставляет человека совершать роковые поступки, превращает его в раба и чудовище. А призраки – это мы сами... Все мы иногда спотыкаемся о собственную тень, но не стоит по этой причине отказываться от десерта. Вы любите море?

– Море, мсье?

– Сейчас зима, но прогулки у моря были бы вам чрезвычайно полезны. Почему бы вам не съездить, скажем, в Довиль? Там хорошо даже зимой... И поосторожнее с крепкими напитками!

– Это поможет?

Что-то в его голосе заставило доктора Эрве насторожиться. Он поднял брови.

– Видите ли, – продолжал Тео, – вот уже третью ночь я просыпаюсь от детского плача... это девочка...

– Девочка? – Доктор насторожился. – Здесь нет детей.

– Я знаю, мсье. Но она плачет. Это девочка лет десяти-двенадцати. Одноногая девочка. Она плачет и плачет, и я просыпаюсь... а потом не могу заснуть...

– Одноногая... – Доктор нахмурился.

– Да, мсье, у нее одна нога. Она очень несчастна. А я не могу заснуть.

Доктор Эрве задумчиво кивнул.

– Видите ли... – Он вдруг запнулся и снял очки. – Я родился в маленькой деревушке неподалеку от Орлеана...

Тео слушал его с непроницаемым лицом.

– Это было во время предпоследней войны с германцами, – продолжал доктор, глядя на свои пальцы. Он говорил тусклым, размеренным, невыразительным голосом. – Пятьдесят шесть лет назад, когда прусские войска заняли Орлеан, мою мать изнасиловали баварцы. Двое баварских пехотинцев. Ей не было восемнадцати, когда я появился на свет. – Он помолчал. – Вы даже представить себе не можете, каково нам приходилось. Мою мать называли шлюхой, а меня – сыном шлюхи и немецким отродьем. Наши соседи были простыми крестьянами... простые люди, мсье, которые верят в ад, но сомневаются в существовании китайцев... – Снова помолчал. – В конце концов мать не выдержала и покончила с собой. А меня отдали в монастырский приют. В монастыре жила одна монахиня, старуха, ее называли Овечьей Матушкой. Все считали ее сумасшедшей и колдуньей. Она целыми днями бродила по полям в сопровождении овцы... у нее была белая овца, которая бегала за нею как собака... Мы, дети, ее побаивались. Однажды она остановила меня и протянула камень... – Доктор достал из кармана маленькую коробочку. – Маленький белый камень. Голыш, каких много было на берегу реки. Она велела мне держать этот камень за щекой. Она сказала, что камень вберет в себя все зло, которое скопилось в моей душе. Я спросил, сколько же нужно держать этот камень за щекой, и она ответила: «Пока не почернеет»...

Доктор Эрве открыл коробочку. Внутри на черном барха-

те лежал маленький плоский камешек, обычный речной голыш.

– Белый, – сказал Тео.

– Разумеется, – без улыбки откликнулся доктор, пальцем двигая коробочку к Тео. – Мне хочется подарить его вам. Я называю его овечьим... овечий камешек...

Тео усмехнулся.

– Так, значит, поменьше сладкого?

– И побольше жирного. – Доктор надел черные очки. – Эта ваша улыбка – следствие контузии?

– Да, – сказал Тео. – Спасибо, господин Эрве.

Он сунул коробочку в карман и вышел из кабинета.

Время приближалось к полудню, когда Тео покинул госпиталь. Он купил свежий номер «Пари матен», а также «Пари-тюрф», хотя на ипподроме бывал довольно редко, и зашел в маленькое бистро, где заказал коньяку.

Доктор Эрве подарил ему на прощание свежий номер «Кайе дю психоложи», в котором рассказывалось о важном недавнем событии – создании Парижского психоаналитического общества, а также публиковалась заметка, в которой упоминалось имя Тео Z., то есть Федора Ивановича Завалишина.

В этой заметке рассказывалось о том, что на каком-то там заседании этого самого общества выступил некий доктор Дюбелле, который сказал, что «случай Тео Z.» является ни много ни мало примером пробуждения Бога в человеке, то есть пробуждения всего прекрасного, что до поры до времени таилось в душе этого человека, но было разбужено к жизни потрясением от встречи с произведением искусства, каковым следует признать русский фильм «Броненосец “Потемкин”».

«Не будем, впрочем, забывать о том, что человек этот сейчас, по всей видимости, подвергается страшному испытанию, – сказал доктор Дюбелле. – Вся его жизнь висит на волоске. Он стоит на краю пропасти. Он стоит перед вы-

бором между опасностями новой жизни и той комфортной рутиной, которая спасает нас от безумия. Недаром же поэт Рене Рильке однажды заметил: *das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang*, то есть *прекрасное – то начало ужасного, которое мы еще способны вынести*».

А дальше в заметке шла и вовсе сплошная тарабарщина: внутреннее «я», бессознательное, мандала, гештальттерапия, альбедо, нигредо...

«Поди разбери, о чем это они, – подумал Федор Иванович, пряча журнальчик в карман. – Вроде про меня сказано, а как будто и не про меня. Ну какое из меня альбедо? Тем более – нигредо...»

Федор Иванович пребывал в растерянности. Он чувствовал себя так, словно этот чертов броненосец «Потемкин» – водоизмещением 12 900 тонн, длиной 113,2 и шириной 22,2 метра, со всеми его сорокатрехтонными пушками, стреляющими трехсоткилограммовыми снарядами, с двадцатью двумя клокочущими паровыми котлами и четырехметровыми рокочущими гребными винтами, со всеми его семьюстами тридцатью матросами, офицерами и червивой говядиной, со всей его мýкой, отчаянием и ненавистью – полным ходом – ледяной лязг орудийных затворов, грозный шум взрезанной форштевнем воды – шел на него, а он, Федор Завалишин – всего-навсего человек, в котором мягкого было больше, чем твердого, всего-навсего один из нас – не в силах шевельнуть даже пальцем, сдвинуться с места, будто загипнотизи-

рованный приближающимся чудовищем, безмозглым и безжалостным Левиафаном из бесчеловечной библейской бездны...

Тео не знал, что делать, и даже не знал, нужно ли что-то делать.

Он не понимал толком, что с ним произошло. Он мог на равных поддержать разговор о свойствах парааминофенола и тиосульфата натрия, но почтительно умолкал, когда речь заходила о Боге, совести, судьбе и прочих таких же материях. Еще в детстве его научили чтить десять заповедей, и он их чтил: никогда не спал с женщинами в долг и не плевал на трупы врагов. Священник говорил, что совесть – это глас Божий в человеке, а Федор Иванович был убежден в том, что он верит в Бога. При этом он старался почитать законы не только Божеские, но и человеческие. И вот в полицейском участке ему сказали, что во Франции нет таких законов, по которым его можно было бы судить за преступление, якобы совершенное им двадцать один год назад, а в теперешней России законов нет вовсе. Люди не хотели или не могли его судить, а речь Бога была невнятна. Если спустя два десятилетия Бог вдруг почему-то очнулся и заговорил в Федоре Заваляшине и даже повел его в полицию – Тео вспомнил красные двери участка и мучительный запах горячего сургуча, – то почему же, сказав «а», не сказал «б»? И если не Он, то кто же тогда должен произнести это самое нечеловеческое «б»?

Федор Иванович не привык отвечать на нечеловеческие

вопросы. Он выпил еще одну рюмку «Курвуазье», закурил серую гамбургскую сигару и отправился в гости.

Друзей в подлинном смысле слова у него было совсем не много, и одним из первых среди них был Сережа Младшенький. До войны он окончил в Париже политехнический институт, а в 1916 году, как и Тео, записался добровольцем в Русский экспедиционный корпус. Вообще-то фамилия его была Петров, но в русской армии всех Петровых или Ивановых было принято нумеровать: Петров-первый, Иванов-второй, иногда – называть по старшинству: Иванов-старший или Петров-младший. Поскольку в полку было с десятков Петровых, а лицо Сережино напоминало счастливую розовую пятку младенца, его и прозвали Младшеньким.

Сережа гордился тем, что в 1918 году вошел в Вормс в составе оккупационных войск Антанты во главе русского взвода. Он любил рассказывать о том, как были шокированы и возмущены немцы, увидев над вормской ратушей русский триколор – флаг победителей, которых немцы считали побежденными.

По окончании военной службы он несколько лет бедствовал, не чурался даже грязной работы, одно время помогал Тео, который как раз тогда расширял свой бизнес и нуждался в помощниках. После долгих мытарств Сережа устроился инженером в Парижский метрополитен и был на седьмом небе от счастья: для человека с нансеновским паспортом это

было огромной, неслыханной удачей.

Сережа снимал квартиру на набережной Турнель и всегда бывал рад встрече с однополчанином и земляком: Младшенький тоже был родом из Одессы.

Федор Иванович поспел к обеду, который приготовила Анна Ильинична, жена Младшенького, добрая женщина кобылей стати, немного стеснявшаяся своей чрезмерности. Она была беременна и ходила перевязанная по животу шалью.

За обедом Федор Иванович рассказал о своем приключении в «Казино де Гренель» и недолгом пребывании в госпитале.

Сережа тотчас принялся горячо убеждать друга в том, что «большевики, разумеется, лгут», поскольку точно известно, что солдаты тогда стреляли в воздух, поверх голов, и никого убитых в Одесском порту в те дни не было.

– Вот ты стрелял в людей? – спросил он. – Не могли же солдаты просто так пострелять и убежать с места расстрела. Будь там убитые, ты бы видел. Ты же военный человек, Федор! И сам в кинематографе работал! Неужели не понимаешь?

– Понимаю, но не помню, – признался Тео. – Помню, как они разбегались, а как падали – не помню.

– Не помнишь только потому, что этого не было.

– А что же тогда было?

– Гипноз, – ответил Сережа. – Кинематограф, брат, сам

знаешь – искусство гипнотическое, облачное. Вот тебе и внушили, что ты виновен. Ты говоришь, что это глас Божий, – а ну как это дьявольское искушение? Призрак! То-то! – Он захохотал. – Ну вас к лешему, русские вы мои! Вот за что я люблю писателя Золя, так это за пристрастие к фактам. Он сообщает мне факты, которые вызывают у меня доверие, и благодаря этим фактам я узнаю его героев и понимаю, чего они хотят. – Он поднял палец. – Поэтому господин Золя – гуманный писатель. Если господин Золя вдруг увидит в лесу тигра, он испугается и убежит. И я это понимаю, потому что и я поступил бы так же, как всякий нормальный безоружный человек. А вот коли господин Достоевский встретит тигра, он задрожит, покраснеет и останется на месте. Как это понять и что это за человек? Я начинаю даже подозревать, что это и не человек, а такой же тигр. – Сережа покачал красивой бритой головой. – Что Достоевский, что Толстой – жестоки, жестоки, ей-ей, и вовсе не любят они меня. Ведь они, со всеми их фантазиями и озарениями, зовут меня не к узнаванию, а к познанию. По их милости я вынужден мучиться вместе с ними, фантазировать, гадать, молиться – да на что ж мне это? Бог, дьявол, совесть... Облака! – Он налил в зеленые граненые рюмки водки и подмигнул Федору Ивановичу. – Вот у нас в метрополитене придумано множество различных штук, чтобы в случае чего не допустить гибели людей. Гуманнейшие устройства! В кабине поезда, например, установлена особенная кнопка, на которой всегда должна лежать ру-

ка машиниста. Пока эта кнопка в нажатом положении, поезд может двигаться. А если с машинистом что-нибудь случится, ну, скажем, сердечный приступ или там обморок, рука его с кнопки упадет, и поезд ни за что сам собою не пойдет в тоннель, и люди останутся невредимы. Называется эта система «рукой мертвого человека». – Лицо его расплылось в счастливой улыбке. – Вот это – бог, вот это я понимаю! Идеал!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.